

В. Д. Славнин

ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ

— Можно? Здравствуйте! — сказал я худому, небритому мужику в потертом военном кителе и в кепке-восьмиклинке, сидевшему за дощатым канцелярским столом.

— Вы будете председатель сельсовета?

— Да, однако, я буду. А что? — он с заметным интересом охватил взглядом мою неказистую «справу», фотоаппарат, компас на ремне, зажатую в кулаке заветную бумагу.

— Я — начальник отряда Среднеобской археологической экспедиции... — зачастил я, самоутверждаясь и стараясь хоть как-то сгладить впечатление от своей внешней непрезентабельности и молодости. — Надо заверить Открытый лист Академии наук.

Как фельдъегерь пакет, выдернул свою «верительную грамоту», протянул председателю. Тот неспешно-недоверчиво ухватил бумагу левой рукой (правый рукав был пуст), прочел. Дойдя до строк, коими предписывалось «всем органам Советской власти» всячески содействовать мне во имя Высокой Науки, мужичок мимолетно ухмыльнулся, спросил:

— А отряд-то твой где обретается?

— Там, — кивнул я на окно. За ним виднелся напарник Володя, коротавший время за «сибирским разговором» — кедровыми орешками.

— Ага. А остальные?... Че, двое, что ли? Чего ищете-то?

Я объяснил, как мог.

— Вы, паря, у нас-то, под Назиним, навряд что найдете от стариных людей. Здесь ране-то, однако, никто не жил. Разве что остики. Это вот повыше, в Вертикоссе, место имеется, где Ермак клад, говорят, зарыл, чтоб с союзным остицким богатырем не делиться. А у нас — нет. У нас тут — болота, да урман по ярам. Памятники? Какие памятники? Могилки, что ль? Есть могилки... х-г-м... А-а, не эти? Где древние люди жили, либо хоронили? Нет, не припомню... Стариков надо бы спросить, да все в разбеге — кто где. На плесах которые, кто косит, кто и вовсе помер.

Председатель сунулся в несгораемый шкаф из тонкого листового железа, извлек из его недр развалившуюся коробочку с лиловой подушечкой. Дыхнул на печать, при-

хлопнул ее на обороте Открытого листа. Некоторое время удовлетворенно созеркал свежий оттиск. Потом клюнул пером чумазую непроливашку, размашисто расписался. Задумался, заскреб в щетине подбородка концом ручки.

— Н-да-а... помочь оказывать, говоришь... А каку помочь надо-то?

Последние сутки мы поголодали: сухой паек кончился, а варить на почтовом котеришке, сердобольно забросившем нас в Назину, было негде. Потому я поинтересовался столовой и магазином. Председатель весело откинулся на спинку деревянного «кресла», сбил кепку на затылок, хохотнул:

— А нету, ребята. Столовой, говорю, нету. Зимой-то бывает, другой раз, когда лесозаготовители на участке пластаются. Нынче вообще не будет — не рубят лес по-што-то. Далеко плавить, наверно. Оно-то, конечно, и к лучшему: народишку бойкого поменьше. Но столовой нету. Не для кого: свои-то дома, им ни к чему. Так-то вот. Лавку Маша-продавщица тоже прикрыла. На два дня, поди. За хлебом в Александровское подалась. Как пекарня-то вместе с пекаркой по пьянке сгорела — так вот и возим. То сами, на чем попадя, то, глядишь, вертолетом с райцентра, либо с Каргаска доставят. А так-то, почитай, в магазине и торговаться нечем. Летом вино не продают почти: сухой, слышь, закон. Только и товара, что хлеб да курево, да телогрейки-сапоги с керосином. И людей-то сейчас в селе почти что нет — пущина... Вы вот что, паря: подождите, как Маша-то приедет. Провинант и подкупите. Ночевать в сельсовете, в конторке можно — где «секретарь» написано. Пока чем-нито подкормитесь. Рыбешкой, сухарями помогу маленько. Крупа-лапша, поди, у самих есть. А-а, ну, коли торопитесь — дело другое. Тогда вот что: пока рань, по селу, по избам, пройдите. Ежели из хозяев кто дома, дак съестным разживетесь. Хлеб ли, картошка у кого есть — всегда продадут. А то вот еще что: остров через протоку видали? Там в тальниках зайцев — тьма! Ружье-то есть, поди? Ну, вот — с мясом будете. Подкоптите, подвязлите в запас. Я бы и сам с вами, но баба с парнишкой на покосе ждут. Вверху это, не по пути. Я облас вам дам — на весь срок, только с возвратом. Умешь на обласе-то, не сковырнешься? Ну, и дело... Что «почем»? Облас-то? Да нипочем, так даю. В порядке содействия, как в твоей бумаге написано. Два у меня — один на покосе, другой — вон, под яром, к лодке привязан.

Там и гребь. Берите. А как вернетесь с острова — в сельсовет забегайте. В сенках вам бредешок положу, да харчей чуток. Замок у нас для блэзира, не закрывается. Последнее время чужих мало, не опасаемся особо...

— Ну так, ребята-экспедиция. Работайте. Найдете что — загляните, расскажите, как тут люди допрежь нас жили. К сентябрю народ-то соберется, все послушают.

Вышел я на крылечко, огляделся вокруг. Длиннющая — километра на четыре — единственная улица не обнаруживала никаких признаков жизни. Ни палисадничков, ни кустиков, ни деревьев — ничего. Это и понятно: сильно страдает от гнуса северный люд: тайга — вот она. Поэтому и жмется долгий ряд изб к реке, потому и выводится под корень всякая растительность в селениях, чтобы было где гулять речному свежему ветерку, прижимающему к земле крылатую нечисть, напрочь разгоняющему ее. Не курились дымки летних чувальников-камельков, не видно было и собак, утянувшихся либо в урман для прокорма, либо вместе с хозяевами страдавших на плесах и покосах. Не мычали коровы, видно, отогнанные гуртом куда-то на высокую пойму (да и много ли их было в таежном, полуяхантыском, селении?), лишь где-то поблизости по-старушечки ахала над своим выводком одинокая наседка, да под плахами крыльца коварно подвывали комариные полчища, не рискующие вылезать из тени в солнечный ветродуй. Было так, словно единственным очагом жизни во всей череде добрых срубов и заплотов оставался изрядно замшелый, чуть покосившийся «крестовик» сельсовета с вяло колыхавшимся на высоком шесте розовым «несменяемым» флагом. Подтянулся Володя, стряхнувший на завалинку горсть ореховой шелухи, спросил глазами: «Ну, что?» Сели на приступку. Из последних, можно сказать, запасов скрутили одну «козью ногу» на двоих (экономили махорку; в цигарке она транжириится). Поразмыслив, взбросили на спины тощее «оборудование» — пару сидорков с кое-каким запасом, старыми одеялами, выданными в хозчасти университета, телогрейками, запасными портняжками, полевыми дневниками. Неразлучная берданка-тридцатьвторушка умостилась на правом плече, стволом вниз — подались мы, в конце концов, на заячью охоту, а точнее покатились мелкими шажками по петлястой тропке с тридцатиметрового яра к урезу обской воды, где вкрадчиво-страстно похлюпывали короткие волны о борта председатель-

ской лодки, баюкая притороченный к ней обласок. Челнок был довольно вместительным — мы погрузили свои манатки, уселись сами, приплывши лодочку бортом к берегу и упервшись воткнутым в дно веселком-гребью со слегка выгнутым пером и поперечиной у рукояти. На воду осталось еще сантиметров пять борта — ничего, плыть можно, хотя бы и по Оби, а не то, что по протоке ее — широкой, но спокойной, нешибко стрежевой...

Древние мудро придумали долбленку-облас: узкий и легкий, с изящно устремленным вперед и вверх носом, сухим ивовым листом ходко скользит он по воде, то плавно сползая со взгорбившейся ее поверхности, то взмывая по встречной волне, повинувшись малейшему шевелению изогнутой лопасти. Минут через десять остров, Заячий остров, — словно в устье Невы — надвинулся на нас длинной песчаной стрелкой, переходящей в крутоватую дугу берега, сплошь почти затянутого низеньким, платиново-синеватым тальничком, из которого там и сям торчали перекрученные ветрами и паводками темные тела ветел. Десятки, может, сотни совсем таких же обрывков плоской поймы остались на всем длинном пути Оби, медленно и упрямо рвавшейся к океану сквозь седые кругитчатые лессы, вязкие разноцветные глины, бурье торфа великой равнины сибирской. Несла с собой река огромные массы чисто перемытого песка и, обходя преграду, устало отbrasывала лишний груз на неказистые обводы ю же сотворенного клоука суши. Отдохнувш зимой от бесконечного хода, освободивши застоявшиеся силы, буйными весенними паводками захлестывала Обь-матушка новорожденные и подросшие острова, забрасывала их тучным илом, всяkim речным сором, сизо-стальными причудливыми телами плавника. Снова росли острова, обживались, натягивали на себя травяную, тальниковую, черемуховую одежду, подаренную приречной ширью, чтобы на следующий год повторить все снова или исчезнуть по капризу непостоянной, блуждающей матери. Были они все одинаковы, ровно близнецы: с ясными, будто решущими над водой, косицами песков-плесов, с ровицкими заборчиками надбережных талин, со слоеными ярочками кромок, с невесть откуда взявшимся в середине разнотравьем и высоченными пучками да коневниками, с сорными лужами застойной воды, скопившейся в ямках под свишившимися корнями ветел и случайных осин. Наш остров — такой же во всем, кроме размеров: верст шесть в

длину да с четверть того в ширину. Пожалуй, еще повыше иных: видно, наткнулась когда-то река на бугорок, прорезать его поленилась, обошла, глубоко врезаясь в скаты, намыла пойму с плоским холмиком вниз по течению; здесь, на незатопляемом останце, трепетно понгрывали зеркальцами листьев несколько серебристых тополей. Туда, к этим нешибко высоким, но стройным, чистым каким-то, всегда вызывающим симпатию деревьям мы и нацелились, втянув подальше на песчаный язык наш осиновый кораблик. Ближе всего к тополям было бы дойти по берегу, но прорубаться через сырой тальниковый хаос, переполненный комарем, перехлестнутый во всех направлениях багровыми, невероятной длины хлыстами крушины — предприятие весьма сомнительное, если не сказать безнадежное. Идти решили там, где чище, где дружелюбно разметали узловатые ветви приземистые, мрачноватые ветлы. Время есть, из обещанной нам тьмы зайцев найдется, поди, два три чудака, тоже избегающих гнуса и предпочитающих «столоваться» в сухих, срединных, «муравах и кущах». Больше нам и не надо; а коли и вовсе не попадется, так и то не беда: перебьемся на рыбе, на оставшихся четырех банках тушеники, а дальше видно будет в маршруте. На Пане-речке — утки, да и деревни есть, если верить карте — как-нито, прокормимся. А на зайца, вообще-то, сейчас и не сезон; никто, конечно, не увидит, но все же браконьерствовать стыдно. Если же наткнемся на косых — попробуем добыть: как-никак, мы экспедиция, и стрелять дичь для пропитания нам разрешено (по крайней мере, так было написано в инструкции). Успокоили себя, обсудили маршрут, моральную сторону охоты на зайчиков, перекурили, шагнули с песков на ярко-зеленую бахрому приречной молодой осочки, двинулись в глубь большого Назинского, Заячьего острова. Не знал я тогда, что есть у него иное название, ведомое многим моим землякам больше по слухам, а то и вовсе неведомое, тайное. Оно открылось мне значительно позже. Пока же мы, окрыленные надеждой на добчу, сытный обед, опьяненные освобождением от «жизни градской» солнышком, ветерком, придавившим к земле крылатых кровососов, уже изрядно подпортивших нам жизнь и физиономии (тогда еще не дошли до нас «антicomарини», больше терпели, спасаясь дымом), — пока что мы споро вышагивали от ветлы к ветле, приглядываясь по привычке «к рельефу

местности» — авось, попадется какая-нибудь «археология»: в принципе место для летника средневековых «обских людей» (асьях; «остяк» — отсюда) довольно подходящее. Зайцев все не было, наверно, поняли, что мы не очень-то стремимся лишать жизни кого-либо из них, и потому и не желали подставлять «убийное место» под пурпур моей берданочки, как утверждает охотничье поверье. Спали, видно, где-то в тени кустов или прятались в непроходимых «манграх» прибрежных. Шли мы обычной полевой манерой, «челноком» — то сходясь, то расходясь, то уходя вперед, то возвращаясь; вскоре выяснилось: не зря. Почти сразу же, у первых ветел, я влез в густые заросли крапивы, ожегся, пригляделся — не только крапива, еще и конопля есть, лебеда! Откуда эти верные спутники оседлости человечьей на далеком таежном севере? Может, назинские косари занесли (что косят — было понятно: высокая часть острова, — рядом с тополями, — чудный луг, только что кузнечики не трещат, да тальничковые шарики там и сям клубятся. Жерди кое-где прислонены к деревьям, от стогов, наверно. Но опять же, конопля-лебеда обычно гнездится на местах былых построек...

Голос Володи вывел меня из размышлений: «Однако землянка! Посмотри, на «линзу» похоже!» Линзой у нас называется заметное глазу оплывшее, пологое углубление в земле от давным-давно разрушившегося жилища, поэтому я сразу метнулся на зов. Действительно — была она, эта самая «линза», да не одна (потом я насчитал их пятьдесят три штуки). Но что-то глубоковаты по сравнению даже со средневековыми. И потом, — количество. На древних поселениях число былых жилищ полтора — два десятка, не более, а здесь... Закравшееся сомнение усиливалось непонятной ориентацией углублений, беспорядочной их разбросанностью, каким-то разнобоем в размерах и форме (круглые, почти квадратные, просто вытянутые ямы). Чутье подсказывало: что-то не то, видимо, «позднятина» (мы любили пококетничать доморощенным «полевым» жаргоном). Но — правило есть правило. В одной из выемок мы заложили две узенькие (чтобы не нарушить общую конструкцию предполагаемой «землянки») траншеек, перпендикулярно друг к другу. Надлежало проверить, есть ли в ней следы жизни человеческой — «культурный слой».

Несуразица началась сразу: культурного слоя не было. Под опавшим прошлогодним листом, затянутым пленкой ила от нынешнего разлива, десятисантиметровой толщины прослойка того же ила, оставленного паводками прошлых лет, и — «материк», синевато-зеленая, вязкая глина пойменных отложений. Выходит, углубления естественные? Но как тогда быть с явной преднамеренностью их сооружения, с неким «тяготением» друг к другу, с массой неуловимых признаков, которые невозможно объяснить словами, но которые убеждают: человек руку приложил. К тому же в слое ила, на поверхности «материки», мы обнаружили проржавевшую железку, позелневший нательный крестик и оловянную пуговицу, каких не выпускает наша легкая промышленность. Надо было проверять еще. Подстегивали любопытство и азарт, да и методика археологических разведок требовала того.

Шурфки, заложенные в трех разных местах предполагаемого поселения, дали совсем другие находки. Пошли кости. Сначала мелкие, вроде птицы или зайчины (первое, что напрашивалось), потом — длинная, похожая на кость предплечья. Тут же — два-три черепка от глазуренного горшка. Все ясно: современность или почти современность. Мало ли народу заплывает сюда на косьбу, на рыбалку, забредает зимой по всяким житейским нуждам — тальника нарезать, зайцев погонять. Последняя закопушка «выдала» тазовую кость — желтоватую, крепкую, совсем не древнюю. Что ж — тайга есть тайга, всякое бывает. Вернемся — скажем сельсоветчику, пусть принимают меры соответствующие органы. Засыпали и заровняли шурфки и траншеи, воткнули отесанные колышки-реперы на места находок. Все. Наша миссия окончена, нет здесь памятника археологии. Надо идти дальше. Для очистки совести обойдем остров, вернемся к обласке — и обратно, в Назино, добывать хлеб насущный.

...Чем ближе мы подходили к серебристым тополям, тем отчетливее слышались звонкие ребячье выкрики и вопли. Они то удалялись, то приближались, но все время оставались где-то в одном месте. Наконец, тальниковые заросли оборвались, мы вышагнули на веселенькую зеленую полянку, за которой столпились заметные деревья. На песчаную отмель недалекой речной лагунки были вытащены три больших обласка, к толстой прибрежной ветле прислонены литовки. По полянке носился человек

шесть огольцов; еще двое попрыгивали у противоположных краев ее. Понятно: откосились — теперь футбол; в него играют везде — от Амазонки до Ледовитого океана. Мы подтянулись ближе: надо потолковать с вездесущим и всезнающим ребячим племенем, можно узнать много важного (так подсказывала практика).

Игра сразу же прекратилась; мальчишки сгрудились посреди «поля» вокруг мяча, внимательно разглядывая нас — вооруженных и явно нездешних, «верховских». Немного погодя от стайки футболистов отделился белобрюхий, довольно-таки конопатый «капитан» лет двенадцати в кепке без путовки-«нахлебника». Подошел, по-деревенски вежливо поздоровался (тогда не исчез еще этот славный обычай), спросил:

— Дяденьки, а вы кто — экспедиция, ли че ли?

Услышав утвердительный ответ, поинтересовался, что мы ищем: нефть или золото — обычная реакция на слово «экспедиция» в любых краях. Во время пространного объяснения помаленьку, по одному, прибрели остальные. Увлеченный пропагандой нашей деятельности и ее смысла, я не сразу обратил внимание на мяч, оставшийся лежать на прежнем месте. Взглянув — осекся. Это был человеческий череп.

— Братцы, вы что — этим вот в футбол гоняете?

— А че, нельзя? Так их по весне много вымывает, по тальникам!.. Не-е, могилки не здесь, — за селом, они, край тайги. Эти-то не наши, мы не знаем, чьи; може, остатки старинные.

Пришлое напомнить ребятам о моральной стороне дела. О том, хорошо ли было бы, если б так же обошлились с ними или с их родными. Подействовало. Все вместе мы закопали «мяч» и два других черепа, поменьше (наверно, детских), которые обозначали одни из «ворот». Притихшие мальцы погрузились в обласки, изящно развернувшись и полетели к назинскому крутояру, шибко загребая однолопастными «перышками».

Мы чуть ли не пластиунки облазили необследованную часть острова, нашли еще один — младенческий — череп и (под тополями) поваленный, затянутый травой, крест из двух полусгнивших, связанных веревкой кольев. Древностью здесь и не пахло. То, что мы обнаружили, было явно недавнего происхождения. Все было странно — и необычное кладбище (или селение?) на непригодном месте, и жутковатая ребячья игра, и черепа: зубы тех,

кому они принадлежали, выпали еще при их жизни. Забыв об охоте, в недоуменной тревоге мы отчалили от Заячьего острова, еще недавно казавшегося таким привлекательным. Заспешили прочь, намереваясь хоть что-то разузнать у местных. Не все же они, в конце концов, отъехали, кто-то да есть! Старики, например. Уж они-то должны знать, что и когда случилось под боком у села!

Нам повезло, на сельсоветовском крыльце сидел кряжистый дедок в резиновых «ботфортах» и замыганным полувоенном картузе, из-под которого словно выскочили большие пергаментные уши. Голубовато-сизые глаза хитровато обежали наши фигуры, рука неспешно переместила в карман пиджака изжульянную пачку «Севера», лежавшую до этого рядом, на ступеньке.

— Здорово были, мужики! — (это издали). — Э-э, да вы-то, однако, па-арни! Это вы и есть с Томского экспедиция? Ну-ну.. А нету председателя-то, сплыл. И Надя-секретарка с ним, дочка его. Уезжал — просил меня вас поглядеть. Оставлено вам че ни то — в сенках вон. Я акурат возвернулся (ноги что-то мозжат) — он сплыват, Мне толкует: мол, с Томского мужики подойдут, экспедиция, дак ты отдай им бредешок мой, да харчишек малость. Сижу вот, сторожу, а вы-те, гляди, и не мужики — парни!

Пошел разговор, потянулся, завился словесной куделью, вытягиваясь в долгую нить. Словоохотливый попался старик. Впрочем, в таежных деревнях каждый новый человек — находка, объект интереса, источник информации. Выспросил обо всем: о нашем возрасте, семейном положении, местообитании, о занятиях и о городской жизни, о ценах на «манавактуру» и водку в Томске и еще бог знает о чем. Наступила моя очередь. Я попытался исподволь навести разговор на большой Назинский остров и его загадку, но что-то никак не получалось. Заколодило деда на описаниях сельских взаимоотношений, обид, неурядиц и пьянок. Каждый рассказ завершался сетованиями на неладность нынешней жизни и воспоминаниями о «справном», упорядоченном и веселом бытии давних лет, когда дед «в женихах ходил». Интересный тек разговор, прелюбопытнейшие вещи рассказывал старик — тут тебе и этнография, и национальные взаимоотношения, и старый северный деревенский быт. Но не это нам сейчас было нужно. Я не выдержал: «в лоб» спросил о Заячьем острове. Дед Степанович как-то застеснялся, загля-

делся в речную даль. Засобирался было домой, но мы не пустили, намекнув на возможность «погреться»... После второй деда, что называется, прорвало. Вот что мы узнали, и что (позже) уточнили у других встреченныхами людей.

Под весну тридцатого года заявил в кошеве уполномоченный (Степаныч произносил «поломошный») не то из Каргаска, не то из Запсибиря — в общем, откуда-то «с верха». Собрал вернувшихся с промысла мужиков в сельсовете (бывшей избе купеческого «станка»), провел беседу о «текущем моменте», о кулаках-мироедах, вкупе с мировым капиталом намеревающихся погубить завоевания революции, необходимости поголовного их уничтожения, за что сейчас решительно взялась советская власть. Мужики уже слышали о том, что в больших «верховских» селах идет раскулачивание, но сами не испытывали пока: невелико и незажиточно было назинское население — рыбаки, промысловики, шишкобои. Выслушали спокойно: надо — значит надо; власть-то, поди, знат дак». Под конец приезжий объявил, что и им надлежит включаться в «классовую борьбу» всем миром, потому как «кто не с нами — тот против нас». Запереглядывались, зашептались охотнички, не понимая, что к чему, но, чуя неладное, «поломошный» пояснил, что и к ним в Назину пришли по навигации «покулаченых варнаков», злых врагов народной власти, которые спят и видят, как бы сей навредить. Стало понятнее: «варнак» — исстари известное сибирское слово, ничего доброго в себе не несущее. «Так вот, — продолжал человек в гимнастерке, — прибывшим спецпереселенцам надлежит выделить участок земли, где они должны обосноваться и начать перевоспитываться в тяжелых трудах и в строгой изоляции». Непонятное выражение уполномоченный растолковал в том смысле, что ни один варнак не может покидать выделенной территории: за каждого убежавшего (или попытавшегося это сделать) спрос с них, назинских жителей, как с пособников врага и подкулачников.

Переночевав, «представитель» укатил восвояси, набив задок кошевы кое-какими произведениями здешних вод и урманов. Прошел ледоход, вспутилась в разливе и опала Обь, прошел плициами туда и обратно видавший виды пароход «Карл Маркс» — о прибытии сосланных мироедов ни слуху, ни духу. Беспокойство, вызванное горячей речью посланца из центра, утихло, народ

привычно провел путь на плесах и запорах, откосился, закончил заготовку ореха. Мужики стали настроиться на промысел, уверенные, что в этом году ничего не будет — шуга помаленьку пошла, навигация вот-вот закроется. Но однажды утром село разбудил длинный гудок. В километровое горло протоки втягивался караван из двух барж и паузка, влекомых черным, задрипанным буксиром. На носу и на корме каждой посудины зеленели фигуры людей с винтовками.

После двух-трех неудачных попыток подплыть к высокому обрыву, который обсели избы Назина, отбивающийся от берега стражью караван приткнулся к острову. С буксира замаячили, вызывая лодку. Сельсоветовский председатель Федор Степаныч, избранный за грамотность и природную неспособность к промыслу, откомандировал двух мужиков на приличном еще шитике, принадлежавшем когда-то купеческой фактории. Вскоре шитник возвратился, доставив в село двоих людей с буксира: одним был уполномоченный, другим — молодой парень в военной шинели с «разговорами» (как потом выяснилось, начальник охраны, приставленной к «пассажирам» барж). В сопровождении сельсоветчика они сколько-то походили вдоль кромки обрыва, выискивая, где бы пристать и выбросить сюда на берег, но безуспешно: тридцатиметровой высоты крутым скатом тянулся не на одну версту, отвесно уходя в воду, сильно скользило течение, вгрызаясь в глину подножья, а дебаркадера не было и в помине. Узенький песчаный отмыв, где подремывали на зыби назинские лодки и обласки, тоже был для высадки непригоден: он прятался за мелководьем, бухточкой врезавшемся в отвесные стенки яра. Крупным судам пристроиться здесь было негде.

— Что делать будем? — спросил военный у руководителя операции.

— Навигация кончается, до дому бы добраться, не вмерзнуть — холода вон начались. К тому же, сроки предписания у меня выходят, к концу октября бойцы должны быть в казарме.

— Да-а, — раздумчиво ответил тот. — Времени нет искать удобного причала. Ну, и приказ есть, — высадить здесь. Слушай, — обратился он к Федору, — остров-то затапливается весной?

— Половина только, где вот пески. Где тополя — там высоко, сухо бывает.

— А, ладно. Они нас не жалели, чего ради мы их жадеть должны? Выбросим на острове, перезимуют как-нибудь до последнего сплава. А нет, — так.. и нет!

Все остальное назинские, скучившиеся по-над обрывом, видели издали. С суденышком сбросили дощатые сходни, возле них и вдоль бортов выстроились охранники; на мостице буксира торчал «поломошный», время от времени дёргавший рукой (видать, отдавал приказания). Полетели на берег узлы, тюки, ящики. Выгрузили из паузка с десяток мешков муки и две-три бочки (то ли с солониной, то ли с рыбой), еще что-то. Из трюмных люков на палубы выплеснулась темная людская масса, разбившаяся у трапов на узкие ручейки (что-то все больше бабы да ребятия, редко мужик увидится, — отметили про себя зоркие таежники, но сомнение и тогда не зародилось в их душах). Когда толпа человек в триста перетекла на остров, темная фигура на мостице зажестикулировала энергичнее, видимо, произнося «теплое напутствие». Сходни убрали. Буксир, дважды гугукнув, заколупал колесами воду, развернулся, отплыл и встал на якорь посередине протоки. Толпа на острове стояла там же, река доносилась приглушенный вой, из которого вырывались отдельные истошные вскрики.

Начальник каравана сплавал в село еще раз, оставил до будущего лета двух солдат для руководства местными караульными. Федору, как местной рабоче-крестьянской власти, было велено составить разнарядку и обеспечить круглосуточное дежурство односельчан у реки — «для обеспечения строгой изоляции кулацкого элемента». Мужики восприняли новую «повинность» со скрытым недовольством: срывался энений промысел; но ничего не поделаешь. К тому же втайне каждый надеялся как-нибудь обойти приказ (с Федором, по-своему, когда «власть» уедет: так делали всегда, еще до «питерской заварухи»). Кабы еще не солдаты — тогда и вовсе бы разговору не было: убег в тайгу за пушниной, а там иши-евищи до весны (запутаны пути таежные). Да и то: куда бабы ли, детишки ли зимой в тайге денутся, какую особую беду принести могут, хотя и «сплататорское отродье», «варнаки»? Все же, после шума и ругани, разнарядку составили, караулы распределили. Кое-какое оружие имелось у каждого. Начальник еще раз наказал сельсоветчику и часовым: ни в коем разе не допускать выхода сельских с острова, пресекать любые их встречи с мест-

нами! В нужных случаях («при неподчинении и попытке к бегству») было позволено стрелять. Ошарашенным таежникам, за десять лет отвыкшим от стрельбы по людям, втолковали, что идет война не на жизнь, а на смерть, хуже гражданской: либо — мы их, либо — они нас, а потому нечего и маяться от угрозий совести. За каждого ликвидированного врага мировой пролетариат и товарищ Сталин только спасибо скажут. Подумали мужики: може, и верно толкует; грамотный, сидит высоко — ему виднее. Опять же угодьями с чужаками делиться накладно, мало ладной землицы-то у нас тут. Подумали так, махнули рукой — и примирись, хотя и чуяли «задним умом» некую неправедность содеянного.

Шло время. Курились на острове тонкие дымки над кое-как сварганимыми кровлями-шалашиками неглубоких землянушек, шастали туда-сюда люди — видимо, пытались обустроиться, пережить зиму. Сменяли друг друга подневольные охранники на назинском берегу, изредка постреливая вверх для острастки (патроны были не свои — казенные). Мужики похитрее приспособили к нелюбому этому делу сынов, сами подались на Тым, на Киевский Еган — промышлять. Изредка солдаты, оставленные блюсти порядок, поочередно совершали обход острова на лыжах: нет ли следов беглых. Поначалу не было, но ранним декабрьским утром поймали двоих — парнишку с девчонкой (домой, вишь, собрались — на Алтай!); завернули обратно. Худущие оба, в ремках — видать, голодно стало в островном поселке. К сочельнику число дымков над ним заметно поубавилось, зато с берега, обращенного к селу, все чаще стали слышны крики, взывавшие к милосердию и молящие «соседей» о помощи. Не выпесли назинские бабы, собрали — кто что — из провинта, одежки, загрузили ручные нартушки; отправились было к страдальцам. Но крепко соблюдали присягу бойцы охраны, свято исполняли приказ. Остановили (сход к реке был один), отобрали все, накостиляли по шеям, да еще пригрозили сообщить куда следует. Притихли бабы, лишь судачили меж собой, жалостно вздыхая, пытаясь понять дальний смысл происходящего — и, не понимая, пилили мужей, вернувшихся к рождеству да крещению (старый стиль тогда по-прежнему был в северном обиходе)...

К февралю совсем реденькой стала сетка дымков, а на льду протоки чуть не каждый день появлялись ползущие

к яру или уже застывшие фигуры. Охранники, осатаневшие от безделья, возвращали живых пинками и прикладами, да еще заставляли волочь на себе замерзших. Вели себя «бойцы»вольно и лихо, рыскали в поисках браги либо «казенки», портили девок (пытались посягнуть и на Федину молодуху, но та взялась за берданку), спали, охотились за «кулачьем». Кое-кому из деревенских парней, заменивших почти всех отцов на сторожевых постах, такая жизнь пришла по нраву. Как-то сама по себе сколопилась постоянная караульная группа; разнарядку похерили.

Под весну уже добралась-таки с острова к подъему высокая тощая баба, закарабкалась по тропинке, опираясь на тальниковую тычку и втаскивая за собой мальчишку лет восьми. То ли притупилась бдительность у стражей, то ли пьяны они были более обычного, только столкнулся с беглянкой один из вояк уже на самом верху. Загородил дорогу, вскинул винтовку. Та было заголосила, указывая на съежившегося птенца своего — но тщетно. И тогда женщина выпустила руку сына, перехватила поудобнее кол — и ринулась на солдата... Два выстрела положили всему конец. После этого случая ползущих стали просто пристреливать: все равно подохнут. А то ишь — на часовых кидаются!.. Трупы стаскивали к далеко выступающему мысу, под которым крутилась незамерзающая воронка (она и сейчас стремительно всасывает бурью глинистую взвесь обской воды; стояли мы над ней, снявши шапки, как над братской могилой).

...Говорил нам Степаныч, давясь пьяными слезами и кашлем, что во сне видит уставившиеся в небо глазища убитого мальчишки... после этого начинается у него запой.

— А вины-то ить нету моей, нету! Ково бы сделал-то? Сам под пулью!

В лето 1931-е, в четырнадцатое лето новой жизни, остров затих совсем. Невесть откуда взявшиеся воронье обсело вершины молодых тополей в северном конце, временами срываюсь с них вниз, за стену берегового кустарника. К июлю исчезли и вороньи. Несколько отважных женщин, с молчаливого согласия оставшихся без работы охранников, «сбегали» на облаках через протоку — подкосить телятам свежей травки на островном заливном лужке. Вернулись смурные, не поднимая глаз. Больше туда не ездил никто. Видимо, с той поры и начали плодиться на острове непуганные зайцы, нашедшие там после

разлива безопасное убежище. Буксир, притащивший в сентябре паузок с малым запасом продуктов и инструмента для ссыльных, был уже никому не нужен, кроме двоих «штатных» стражей, отплывших на нем из села. Знакомый старый речник не в силах был рассказывать об увиденном им в «месте размещения СП». Лишь повторял: «Такое только на фронте бывало, после боя... Или когда караули... после них. Одним словом, Остров Смерти».

Через год Обь-матушка унесла, забросала песком следы преступления, солнце спрятало их в ярко-зеленой траве и молодой тальниковой поросли — все вроде стало как прежде, будто и не было ничего: словно зайцы от века сигали стайками во все концы вылезшего из воды клочка суши. Люди же помалкивали, угнетаемые страхом, стыдом и болью, детям своим наказывая держать язык за зубами. Война обездлюдила село, унесла многих свидетелей и участников ненужной жестокости и позора. Все как будто бы забылось, но каждую весну проклевываются ростки крапивы-лебеды из костей безвестных алтайских крестьян, из их последних бесформенных жилищ. Тянутся к свету, крепнут серебристые тополя — свидетели давней трагедии, напоминая о страшных днях. И живет подспудно в памяти людской иное — тайное — название большого Назинского (Заячьего) острова: Остров Смерти...

XXX

Что-то замешкались мы с Гурьяном Андреичем на этой самой глухариной охоте. Поначалу все складывалось удачно: и скрдывали тихо, и к яру с камешками, которые в эту пору склевывают птицы, скрытно подобрались вдоль залома. Надо же было Гурьяну не выдергивать — смахнуть комара, уgnездившегося у него на лысине (шапку еще зачем-то снял)! Задел ветку елочки, легкое колебание спугнуло ближнюю копалуху, она взорвала крыльями воздух, за ней улетели петухи. Впрочем, особой досады нет: добудем еще приварок к каше, а холодная сентябрьская красота, утренняя желто-розовая тишина так хороши, что и не надо-то больше ничего! Стали «чаевничать», да вот уже часа полтора и занимаемся этим — точим лясы обо всем и ни о чем. На станок возвращаться неохота; разомлели от воли и простора, ну,

и Володя с Иваном пусть поспят: накануне полдня тянули лодку бечевой по запутанным рукавам приуставой «лывы», умотались. Пятьдесят четыре года Гурьяну Андреичу. Он невысок, плотно сбит, порывист и стремителен в движениях. Так и должно: охотник-профессионал, его «ноги кормят». Багрово сияет под солнцем лысина, называемая им «комариный еродром». Воинственно торчат над висками и на затылке остатки былых роскошных кудрей, русо-бронзовая борода обложила лицо мелкими тугими колечками. Белозубая, чуть щербатая улыбка, усы вразлет, невыразимо задорный курносый нос. Небольшие яркоголубые глазки смотрят уверенно, самостоятельно и слегка иронично, с неким «философическим» отверском. Гурьян не курит — «шибко вредное баловство», но попивает («дежурит»), другой раз, крепенько: «полезно, ежели в норме и к делу». Фронтовик, имеет две «Славы», «Звездочки» сорок первого года (он ею очень гордится), медали. К личным документам относится по-разному: «Пачпорт? А я его не содержу, не нужен. Военный билет — это другое дело, в нем вся моя жизнь прописана». Скорая и складная речь его образна, сочна, наполнена юмором и хитрыми подковырками. Он очень умен и, главное, смел, и на все почти вопросы, даже малознакомые, имеет свою собственную точку зрения, которую отстаивает с завидным упорством. Истово верует в какого-то своего бога: «Сохранна сила есть. Всю войну пехтурой прошел, во всех переделках побывал. Под Москвой роту нашу как есть поубивало, а я, веришь, не ранен-не контужен — ни разу! Которые дак толкуют: повезло! Не-е, это все сила сохранила, до войны еще меня осенила! Мать, поди, покойница вымолила!»

В проводниках он у нас уже не впервые, но сдружился со мной только в этом полевом сезоне, — как-то вдруг, после того, как я непонятным образом срезал влет с лодки сразу двух чирков из гурьяновой прелестной «бельгийки» и обеспечил ужин нашему отряднику.

...Беседа крутилась вокруг таежной жизни, изменений, которые принес с собой нефтяной бум; потом перешла на меня, на археологию, на пройденные экспедиционные пути. Между делом я упомянул и о назинских событиях времен коллективизации, не предвидея последующей реакции собеседника.

— Хэ! Остров Смерти! — Гурьян косо ухмыльнулся.
— Да я сам оттуда и есть!

— Ты ж говорил — с Алтая родом?

— Дак и с Алтая, и оттуда. Два раза, если, сказать, родился. Первый-то на Чумыше, второй — на назинской протоке, — с натугой вымолвил проводник, и начал...

Повествование его было скучно, фразы резки и отрывисты, взгляд ушел в себя. Я слушал, сожалея уже, что разбередил незаживающую душевную рану.

Степное алтайское село, где родился и жил до десяти лет Гурьян, было признано кулацким и подлежало поголовному выселению. В начале лета тридцатого года прибыл небольшой вооруженный отряд, начальник которого на сходе приказал за сутки собрать необходимые вещи и провиант на три дня. Все «лишнее» должно было быть оставлено на месте. Крепких мужиков и парней, под общий плач и стон, отделили сразу и куда-то увезли на телегах под конвоем. Их жены и матери с малолетними ребятами да несколько стариков тронулись в путь позже, где пешком, где обозом, почему-то на Бийск. Там из них и «кулацкого элемента» других деревень сбили этап. Оттуда — в вагонах «сорок человек — восемь лошадей» — в Томск. Здесь что-то не заладилось: сначала было неясно, куда везти «спецпереселенцев», потом никак не могли найти подходящих барж (переселение было массовым, а томский речной порт к этому был не готов), потом еще цепь обычных российских неурядиц. Словом, в скорбный свой путь люди тронулись лишь в конце сентября. Отголосивши при прощании с родными избами, бабы не роптали, покорившись судьбе. Прикидывали, как бы обжиться на неведомых местах без мужиков, да детей взрастить. Пугала далекая неизвестность пути, утешало же известное русское «свет не без добрых людей». Гурьянка все недоумевал: пошто это их-то в кулаки произвели? Две коровы с нетелью да кобыла с жеребенком, овечек с дюжину. Ну, само собой, усадьба, надел земельный. Дак у других-то и поболее было! Вообще соседние села, другой раз, побогаче ихнего гляделись. Край сырый, земли много — только работай! Ну и пластились, понятно. В гурьяновом селе только один Ерофеев в страду работников поднанимал — человека два, из-за мельницы. Остальные ломили горб от зари до зари. Семьи большие, рук много, все при деле. Опять же в гражданскую — тятка рассказывал — село против чехов стояло, колчакам не покорилось. Многие к партизану Мамонтову подались, за новую власть кровь лили. И вот те на — «ку-

лаки», «подкулачники»! Непонятно. У матери спрашивать боялся. Сурова была, все молчала. Душа, видно, болела: оставили с нею только меньшого. Трое других сыновей вместе с отцом канули невесть куда...

...После высадки на острове и краткой, но внушительной речи уполномоченного, сводившейся к тому, что народная власть по доброте своей дает возможность врачам своим перевоспитываться в коллективном труде и, может быть, заслужить грядущее прощение, вновь прибывшие были предоставлены сами себе. Обнаружили, что в суматохе поспешных сборов, в растерянности и страхе перед неясным будущим не захватили никакого инструмента. С едой — тоже худо: десять мешков ржаной муки, два чувала с пшеном, три-четыре бочки с селедкой... На все про все, на зимовку трех с половиной сотен человек! Правда, начальник посулил прислать еще обоз по зимнику, в декабре... терпеть надо.

Три топора без топорищ нашлись все же у запасливых стариков. Кто-то из них же спрятал в узле с тряпками заступ без рукояти. Можно сказать, отстроились: вырыли в незалубеневшей еще земле мелкие ямы — заступом, заостренным кольями, наскоро сработанными подобиями деревянных лопат. Поставили конусовидные кривли из жердей, обложили их дерном для тепла. Верховодили в делах старики. Они же сразу и распределили скучный пищевой запас по едокам, учитывая, сколько у кого малых ребят. Другая беда: редко кто захватил зимнюю одежду — погнали, в чем были. Но с этим как-то мирись: кутали детей, сами — как-нибудь.

Стали жить, ожидая обещанной зимней помощи. Ребятишки постарше, а с ними и Гурьян, пока река не застыла, наладились ловить рыбу самодельными крючками из кем-то припасенных гвоздей. Когда пал снег, приспособились ставить петли на зайцев, забегавших подкормиться в лозняке.

Обоз не пришел. Разыгралась цинга. Вместе с нею пришла смерть, первыми скосившая младенцев. Женщины, как могли, пытались продлить жизнь детей своих — и умирали сами. Два старика, совсем разболевшиеся, отказались от пайков и уморили себя голодом. Отчаяние толкнуло на бессмысленные побеги. Ушло за все время лишь трое подростков (куда?!). Остальные были возвращены либо сгинули: под яром противоположного берега передко трещали выстрелы. Холод и грязь промозглых

— Ты ж говорил — с Алтая родом?

— Дак и с Алтая, и оттуда. Два раза, если, сказать, родился. Первый-то на Чумыше, второй — на назинской протоке, — с натугой вымолвил проводник, и начал...

Повествование его было скучно, фразы резки и отрывисты, взгляд ушел в себя. Я слушал, сожалея уже, что разбередил незаживающую душевную рану.

Степное алтайское село, где родился и жил до десяти лет Гурьян, было признано кулацким и подлежало поголовному выселению. В начале лета тридцатого года прибыл небольшой вооруженный отряд, начальник которого на сходе приказал за сутки собрать необходимые вещи и провиант на три дня. Все «лишнее» должно было быть оставлено на месте. Крепких мужиков и парней, под общий плач и стон, отделили сразу и куда-то увезли на телегах под конвоем. Их жены и матери с малолетними ребятами да несколько стариков тронулись в путь позже, где пешком, где обозом, почему-то на Бийск. Там из них и «кулацкого элемента» других деревень сбили этап. Оттуда — в вагонах «сорок человек — восемь лошадей» — в Томск. Здесь что-то не заладилось: сначала было неясно, куда везти «спецпереселенцев», потом никак не могли найти подходящих барж (переселение было массовым, а томский речной порт к этому был не готов), потом еще цепь обычных российских неурядиц. Словом, в скорбный свой путь люди тронулись лишь в конце сентября. Отголосивши при прощании с родными избами, бабы не роптали, покорившись судьбе. Прикидывали, как бы обжиться на неведомых местах без мужиков, да детей взрастить. Пугала далекая неизвестность пути, утешало же известное русское «свет не без добрых людей». Гурьянка все недоумевал: пошто это их-то в кулаки произвели? Две коровы с нетелью да кобыла с жеребенком, овечек с дюжину. Ну, само собой, усадьба, надел земельный. Дак у других-то и поболее было! Вообще соседние села, другой раз, побогаче ихнего гляделись. Край сырый, земли много — только работай! Ну и пластились, понятно. В гурьяновом селе только один Ерофеев в страду работников поднанимал — человека два, из-за мельницы. Остальные ломили горб от зари до зари. Семьи большие, рук много, все при деле. Опять же в гражданскую — тятка рассказывал — село против чехов стояло, колчакам не покорилось. Многие к партизану Мамонтову подались, за новую власть кровь лили. И вот те на — «ку-

лаки», «подкулачники»! Непонятно. У матери спрашивать боялся. Сурова была, все молчала. Душа, видно, болела: оставили с нею только меньшого. Трое других сыновей вместе с отцом канули невесть куда...

...После высадки на острове и краткой, но внушительной речи уполномоченного, сводившейся к тому, что народная власть по доброте своей дает возможность врачам своим перевоспитываться в коллективном труде и, может быть, заслужить грядущее прощение, вновь прибывшие были предоставлены сами себе. Обнаружили, что в суматохе поспешных сборов, в растерянности и страхе перед неясным будущим не захватили никакого инструмента. С едой — тоже худо: десять мешков ржаной муки, два чувала с пшеном, три-четыре бочки с селедкой... На все про все, на зимовку трех с половиной сотен человек! Правда, начальник посулил прислать еще обоз по зимнику, в декабре... терпеть надо.

Три топора без топорищ нашлись все же у запасливых стариков. Кто-то из них же спрятал в узле с тряпками заступ без рукояти. Можно сказать, отстроились: вырыли в незалубеневшей еще земле мелкие ямы — заступом, заостренным кольями, наскоро сработанными подобиями деревянных лопат. Поставили конусовидные кривли из жердей, обложили их дерном для тепла. Верховодили в делах старики. Они же сразу и распределили скучный пищевой запас по едокам, учитывая, сколько у кого малых ребят. Другая беда: редко кто захватил зимнюю одежду — погнали, в чем были. Но с этим как-то мирись: кутали детей, сами — как-нибудь.

Стали жить, ожидая обещанной зимней помощи. Ребятишки постарше, а с ними и Гурьян, пока река не застыла, наладились ловить рыбу самодельными крючками из кем-то припасенных гвоздей. Когда пал снег, приспособились ставить петли на зайцев, забегавших подкормиться в лозняке.

Обоз не пришел. Разыгралась цинга. Вместе с нею пришла смерть, первыми скосившая младенцев. Женщины, как могли, пытались продлить жизнь детей своих — и умирали сами. Два старика, совсем разболевшиеся, отказались от пайков и уморили себя голодом. Отчаяние толкнуло на бессмысленные побеги. Ушло за все время лишь трое подростков (куда?!). Остальные были возвращены либо сгинули: под яром противоположного берега передко трещали выстрелы. Холод и грязь промозглых

землянок, совсем не державших тепла, довершили дело. Люди метались в жару, бредили, сгорали в одночасье. Многие просто не могли подняться и затихали на полу. Пока были силы, пробовали хоронить умерших. Последний старик — тогда еще живой — знал службу, отпевал как умел. Соорудили кладбище в тополевой рощице. Даже с крестами. Потом стали умирать где придется, оставаясь неприбранными и неотпетыми. До самого конца старались оставаться людьми, помогать друг другу, утешать.

До первой зелени дотянуло пятеро: Гурьян с матерью и еще одна женщина с двумя девочками-погодками. Питались всем: случайными крохами сухарей, тальниковыми побегами. Потом — какими-то корешками, куличьями яйцами и птенцами, отысканными на отмелях и в кочкарнике, нечаянной рыбешкой, выброшенной на песок. Даже дождевыми червями... Мать все старалась подсунуть парнишке свою долю. Он плакал, но ел. Паводок сумели пересидеть на кладбище, под тополями. В начале лета умерли обе девочки вместе с матерью: нажевались какой-то ядовитой травы...

Когда на лужке послышались приглушенные женские голоса, мать из последних сил потянула за собой Гурьяна, доскреблась до вытащенных на берег членков, уткнулась лицом в песок. Вернувшись с охапками травы назинские бабы отшатнулись, увидев у обласков длинный труп женщины и рядом с ним — скелетоподобного мальчишку, молча кутавшегося в отрепья. Глотая слезы, бабы уложили его на дно обласка, завалили травою.

— Вот так вот я и родился второй раз. Утаили меня спасительницы от охраны. Марья-то, мать моя другая, мужа уговорила. Стал я как бы им племянником, Семена Панина сыном, из Верхневартовского. Как раз той зимой пропал Семен на белкованье, дак Михаил-то Панин меня, братанова-де сына, и приютил: сирота. Оно, видишь, жена-то Семенова еще раньше померла. Ну, это, понятно, не для деревенских говорилось, для начальства. Деревенские все знали, да помалкивали. Это уж после, как на действительную пошел, упросил Федыку-сельсоветчика справку на верное мое имя написать — пачпортов-то тогда у деревни не было. А то ведь как: служить, а не ты. А коли убьют? Нехорошо, перед покойничками своими стыдно — отрекся, мол. Ну, а потом что... Как у иных прочих. Фронт, война. В Германию до сорок шестого, и опять сю-

да — на Ильяк, на Ларьеган. Охотничаю вот — другого не надо. Прижился. Звали на Алтай, родова там сыскалась. Съездил, поглядел. Чужое все: степя, тайги нет. Боришко — и тот весь в пыли. Люди каки-то не таки. Возвернулся — хорошо! Мои места, век тут жить буду, бережет сохранила сила...

...Через четыре года Гурьяна Андреевича Ларина в крошево изрубили топорами нефтеразведчики-первоходцы. Обиделись: не позволил мужик сети воровски чистить. Негоже, мол, нарушать таежный закон, подличать. Вечером подкараулили у самого гурьянова дома, за забором...

Где она была, та сохранила сила, что дважды спасала его от гибели прежде?

НАЗИНО — ЛАРЬЕГАН.